

ЮРИЙ

ПОЛЯКОВ

ПО ТУ СТОРОНУ ВДОХНОВЕНИЯ



Юрий Поляков

**По ту сторону
вдохновения (сборник)**

«Издательство АСТ»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Поляков Ю. М.

По ту сторону вдохновения (сборник) / Ю. М. Поляков —
«Издательство АСТ»,

ISBN 978-5-17-102842-8

Новая книга известного писателя Юрия Полякова «По ту сторону вдохновения» – издание уникальное. Автор не только впускает читателя в свою творческую лабораторию, но и открывает такие секреты, какими обычно художники слова с посторонними не делятся. Перед нами не просто увлекательные истории и картины литературных нравов, но и своеобразный дневник творческого самонаблюдения, который знаменитый прозаик и драматург ведет всю жизнь. Мы получаем редкую возможность проследить, как из жизненных утрат и обретений, любовного опыта, политической и литературной борьбы выкристаллизовывались произведения, ставшие бестселлерами, любимым чтением миллионов людей. Эта книга, как и все, что вышло из-под пера «гротескного реалиста» Полякова, написана ярко, афористично, весело, хотя и не без печали о несовершенстве нашего мира.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-102842-8

© Поляков Ю. М.
© Издательство АСТ

Содержание

Жизнь как повод	6
Колебатель основ	11
1. Проснуться знаменитым	11
2. Суровые нитки	14
3. Почему все рухнуло?	17
4. «Стой, кто идет!»	21
5. Письма без марок	26
Конец ознакомительного фрагмента.	27

Юрий Михайлович Поляков

По ту сторону вдохновения

© Поляков Ю. М.

© ООО «Издательство АСТ», 2017

Жизнь как повод Вместо предисловия

Когда писатель сочиняет прозу, он невольно рассказывает свою жизнь. Когда писатель рассказывает свою жизнь, он невольно сочиняет прозу. А жизнь литератора, понятно, не ограничивается сидением за рабочим столом, точно так же, как дни и ночи врача не исчерпываются выписыванием рецептов и осмотром больных организмов – в зависимости от специализации.

В своей «базовой» жизни будущий мастер или подмастерье слова сначала, как и все, благополучно или не очень растет в семье, ходит в детский сад, потом в школу. Учится, хорошо или плохо, что на писательской судьбе обычно не сказывается. Далее потенциальный литератор выбирает профессию (часто далекую от творчества), влюбляется (иногда многократно), женится (тоже порой не один раз), растит детей и даже внуков. Попутно он читает книги, смотрит фильмы, спектакли, посещает выставки, путешествует, бывает, и за казенный счет. Являясь гражданином и патриотом, писатель живет заботами своей страны, посещает выборы и митинги. А будучи космополитом, он может эмигрировать или не любить Отечество, не покидая родины. Труженик пера участвует в литературной и политической борьбе, заканчиваясь иногда плачевно, страдает от цензуры, бьется с критикой, с идейно-эстетическими врагами, радеет друзьям и соратникам, отвоевывает себе место на Парнасе, тесном, точно в час пик вагон метро, куда иной раз и не впишься...

Все эти события так или иначе находят отражение в его книгах, иногда напрямую, как у Лимонова, который даже не меняет имен и фамилий прототипов. Однажды меня попросили передать ему в Париже впервые выпущенный в СССР роман «Это я, Эдичка». Издатель честно предупредил:

– Эдуард обязательно поведет тебя обмывать книжку, будь осторожен!

– Почему?

– Сболтнешь лишнего, он выведет тебя в новом романе под твоей же фамилией полным идиотом.

– Зачем?

– Творческий метод у него такой. По-другому не умеет.

Кстати, этот эпизод я щедро подарил Геннадию Скорятину, герою моего романа «Любовь в эпоху перемен». Не читали? Напрасно. А вы знаете, что я никогда не придумываю фамилии героев, а беру их у реальных людей, живых или умерших. Фамилию Скорятин я позаимствовал у одной давней сослуживицы, а потом у Даля прочел: старинный глагол «скорятиться» означает среднее между «покориться» и «смириться». Но ведь именно такова судьба моего героя! Что это – мистика или особо устроенный слух литератора? Многие имена для персонажей позаимствованы мной с надгробных плит. Да-да! Например, Труд Валентинович из романа «Замыслил я побег...» или Суперштейн из комедии «Чемоданчик». Фамилия реального человека, пусть и ушедшего, сообщает вымышленному образу необъяснимый витальный импульс, приближает художника к тому, что я называю «выдуманной правдой». И наоборот: искусственная фамилия делает героя подобным муляжу. Вот вам лишь один из секретов моей надомной творческой лаборатории. Есть и другие...

Иногда жизненный опыт автора присутствует на страницах произведения в прихотливо измененном, даже фантастическом виде, как у Булгакова или Владимира Орлова, автора незабвенного «Альтиста Данилова». В таких случаях по книгам реконструировать подлинную судьбу создателя текста довольно трудно. Не уверен, что экскременты в быту Владимира Сорокина и галлюциногенные грибы в интернет-бдениях Виктора Пелевина играют такую же важную роль, как в их сочинениях. Впрочем, авторы вольны в полетах своих фантазий и грез,

если, конечно, их не заносит в сферу психопатологии. Тогда лучше – к врачу. «В ваших стихах мне не хватает сумасшедшинки!» – любил повторять Вадим Сикорский, чей семинар я посещал, будучи начинающим поэтом. Но когда к нам на обсуждение забрел реально ненормальный поэт, Вадим Витальевич пришел в ужас и не знал, как от него отделаться.

Одни писатели рассказывают о годах, проведенных на грешной земле, до такой степени прямо и откровенно, что порой совестно читать. Давний мой литературный знакомец подарил мне как-то свою исповедальную повесть и, позвонив через неделю, спросил:

– Почитал?

– Прочитал.

– Ну, понял теперь, каков я подлец?

– Теперь понял, – подтвердил я, хотя о низких моральных качествах этого сочинителя весь литературный мир был давно осведомлен.

Другие, наоборот, шифруются или выбирают из своего опыта лишь благородные и драгоценные эпизоды. Читая такие книги, чувствуешь себя, будто переночевал в кондитерской. Подобная самоочистка была характерна для советской эпохи. Ну в самом деле, мог ли лауреат Ленинской премии, видный литературовед И. А. (не путать с осликом, другом Винни-Пуха) признаться в своих мемуарах, что писал доносы на коллег? А ведь будучи опытным поисковиком, открывшим в архивах множество тайн, он явно догадывался, что когда-нибудь исследователи докопаются до этих мрачных эпизодов, ведь доносы, как и рукописи, не горят. Интересно, как ему спалось? Не заходили к нему в сны несчастные «в широких шляпах, в длинных сюртуках»?

Зато теперь у нас «в тренде и бренде» саморазоблачения, выпячивание внутренних мерзостей и концентрация негатива, столь ценимая экспертами премиальных ареопагов, особенно если все это касается страны проживания – России. На иных почетных дипломах я бы так и писал: «Каков подлец!» Причем это относилось бы и к лауреату, и к председателю жюри.

А вот другой случай. Один известный писатель был женат на очень строгой и бдительной даме, поэтому в своих толстых романах он обходился вообще без эротических сцен, к которым и жена, и советская власть относились резко отрицательно. Когда же автор умер, в его рукописях нашли десятки глав, не включенных в опубликованные версии. Все они живописали постельные эпизоды с такой профессиональной разнузданностью, что вдова, она же председатель комиссии по наследию покойного, упала в обморок. Специалисты же ахнули и заявили: если бы он в свое время не побоялся вынести эти главы на суд читателей, хотя бы в рукописи, пущенной по рукам, то прославился бы среди современников. Но теперь, как говорится, поезд ушел, рельсы убрали, а эротикой современного читателя поразить так же трудно, как танк резиновой пулей.

Меня нередко спрашивают, как соотносятся в текстах вымысел и реальный жизненный опыт? Рискну предложить такую вот аллереорию. Жизненный опыт – это как бы хаотичная россыпь, даже насыпь, самых разных камней и минералов. Тут драгоценные алмазы, изумруды, рубины... Полудрагоценные: аметист, опал, жад, топаз, аквамарин... Есть и камни попроче: сердолик, кремень, авантюрин, гагат, разноцветные галечные окатыши... Ну и, конечно, в изобилии разные окаменевшие фракции предосудительного происхождения. Куда ж без них? Так вот, произведение – это мозаичная картина, и ты складываешь ее, выбирая необходимые или уместные камешки из россыпей пережитого. Разумеется, каждое сравнение хромает, но все-таки...

Однако иногда у писателя возникает желание забросить очередную мозаику и просто, без затей заняться камешками из кучи, брать их в руки, рассматривать, вспоминать, какой откуда, показывать читателям, объяснять их происхождение – драгоценных, полудрагоценных, обычных и даже мусорных. Зачем? А зачем мы рассказываем случайному попутчику то, что скрываем даже от психотерапевта? У каждого человека в судьбе есть события, вроде бы рядовые, но

сыгравшие особенную роль. Я, например, понял, что отрочество закончилось не тогда, когда, скажем, впервые проник в тайну женской благосклонности. Нет, случилось иначе.

Мы с друзьями-первокурсниками шумно шли из пивного бара и в Переведеновском переулке, недалеко от моей 348-й школы, повстречали юную женщину с коляской. То была моя одноклассница, с которой мы однажды поцеловались в подъезде, почти невинно. Она меня узнала, покраснела и, холодно кивнув с высот своего раннего материнства, величаво проследовала мимо. Именно в тот момент в моей душе совершилось некое скачкообразное взросление. Почему? Если бы каждый мог ответить на такой вопрос, не нужны были бы ни Достоевский, ни Толстой, ни Флобер, ни Чехов... Со стороны вроде бы заурядная сценка, по нашей классификации – так себе, шпат полевой. А в моей жизни это воспоминание – по меньшей мере топаз, возможно, дымчатый.

Обычно книги, подобные моей, называются литературными мемуарами или мемуарной прозой. Среди них есть выдающиеся сочинения. Например, воспоминания Греча, Фета, Станиславского, Короленко, Пастернака, Белого, Ходасевича, Анастасии Цветаевой, Катаева, Нагибина, Бородина... Это не просто развернутые автобиографии, не рассказы про жизнь-бытьё. Авторы приобщают нас к своей жизненной и творческой философии, спорят с оппонентами, критиками-зоилами, довоевывают с давними литературными недругами, пытаются сами оценить свое творчество в контексте эпохи и вечности. Любому писателю, даже великому, кажется, что современники его не поняли до конца, недооценили. Но лучше, на мой взгляд, быть недооцененным, чем переоцененным. Последнее заканчивается посмертным и даже прижизненным дефолтом.

Однажды на банкете по случаю вручения какой-то литературной премии я обратил внимание на знакомого поэта весьма средней руки, который, опрокидывая рюмки с ритмичностью работа-манипулятора, качал головой и бормотал себе что-то под нос. Заинтересовавшись, я подошел и прислушался. Не сразу, но мне удалось разобраться то, что он бубнил:

– Идиоты! Вот стоит и пьет водку гениальный поэт, а никто даже не догадывается! Козлы!

Гениальный поэт, как вы понимаете, он сам. Что ж, «блажен, кто верует, тепло ему на свете». Но полагаю, Грибоедов ценил в себе дипломата куда выше, чем поэта. Бывает. А почему он так и не написал ничего равноценного «Горю от ума»? Служба заела? Почему же она не заела Тютчева, тоже дипломата? Почему гениальный Артур Рембо в 20 лет плюнул на стихи и занялся работоторговлей? Почему ранний Николай Тихонов содрогает сердце, а поздний оставляет равнодушным, вызывая лишь филологический интерес. А вот с Николаем Заболоцким все с точностью до наоборот. Как в человеке вспыхивает талант и почему потом гаснет? Искра божия – это метафора или реальность? Что происходит по ту сторону вдохновения? По какую именно? По обе стороны.

В моем поэтическом поколении, стартовавшем в начале 1970-х, сразу выделились несколько молодых поэтов, которым прочили громкое будущее. Но никто из них не стал явным чемпионом эпохи. Одним не хватило таланта, другим жизни, оказавшейся слишком короткой, третьи, традиционалисты, оказались в начале 1990-х искусственно выброшены на обочину процесса, четвертые ушли в эксперимент и затерялись в стеклянном лабиринте пробирок и реторт. Но большинство моих сверстников сошли с дистанции на первом же круге. Их талант рассосался, как ложная беременность. Почему? Не знаю. И что есть талант? Вирус рецидивирующего вдохновения или упорный труд, доводящий до озарения? Почему хорошие поэты пьют, как сукины дети, и уходят раньше срока, а плохие, как правило, умеренны во всем, в творчестве, к сожалению, тоже. Их сочинения напоминают мне гигиенический секс по расписанию, где все оргазмы рассчитаны наперед.

Книга, которую вы держите в руках и, надеюсь, прочтете, как раз об этом. Нет, не о сексе, хотя роль интимного опыта в зарождении и осуществлении художественного замысла я тоже рассматриваю, рискуя вызвать внутрисемейное расследование. Но больше меня волнует другой

вопрос, я пытаюсь понять жизнь как повод к вдохновению и сочинительству. Моя книга тоже принадлежит к жанру автобиографической прозы. Но есть одна особенность: почти каждое эссе посвящено истории и судьбе моих сочинений, как-то: «Сто дней до приказа», «Апофегей», «Парижская любовь Кости Гуманкова», «Демгородок», «Козленок в молоке», «Гипсовый трубаач». Есть и рассказы о нереализованных замыслах, например о сценарии «Неуправляемая», который я писал в соавторстве с Евгением Габриловичем. «Неуправляемую» (ее должна была играть Ирина Муравьева) запретили в разгар перестройки и гласности по личному указанию члена Политбюро Яковлева.

Будучи по гражданской специальности учителем-словесником и литературоведом, я пытаюсь взглянуть на собственные сочинения как бы со стороны, глазами исследователя, в частности, проследить историю создания от замысла, смутного импульса, невнятного прообраза, сюжетного эмбриона до полноценного воплощения в тексте. Но и о «постпечатной» судьбе моих сочинения, включая экранизации и инсценировки, я тоже рассказываю. Думаю, читателя заинтересует роковой поединок автора с режиссером, в котором гибнет искусство. Поскольку мои ранние повести «Сто дней до приказа» и «ЧП районного масштаба» побывали под запретом цензуры, я делюсь опытом преодоления прежних запретов и свежими навыками борьбы с «либеральной жандармерией». Особое место в книге занимает полемика с критиками. Это племя стойко меня не любит. За что? Об этом я тоже пишу.

Судьба каждого человека вплетена, как нить, в сложную узорную ткань времени, впутана в бытовые, социальные и политические коллизии, драматические, трагические или комические. По складу характера и литературной ориентации мне интереснее вспоминать забавные случаи. Я даже придумал для подобных историй особый жанр «мемуарески». И таких «мемуаресок» в книге немало. Вот одна из них.

Однажды, участвуя в круглом столе «Патриотизм без экстремизма», который проводил в Краснодаре президент Путин, я откровенно заявил, что в культуре и информационной сфере России труднее всего приходится почему-то именно патриотам и государственнымникам. Более того, искренне любить родину сегодня даже невыгодно: молодой писатель или журналист, объявивший себя патриотом, практически сразу ставит крест на карьере – не видать ему ни премий, ни командировок, ни грантов. Уж либеральные держиморды постараются. Услышав мое утверждение, что деятеля культуры, объявившего себя патриотом, тут же затрут, как «Красина» во льдах, Путин посмотрел на меня долгим грустным и понимающим взглядом:

– Неужели так плохо?

– Хуже, чем вы думаете. Вот «Литературка» – патриотическое издание, а мы можем рассчитывать только на себя. И это в рыночных-то условиях! Зато любое либеральное издание, хамящее Кремлю по всякому поводу, сосет и западных грантодателей, и отечественное вымя.

– Напишите мне письмо! – посоветовал президент.

– Уже написал.

– Отдадите, когда закончим разговор. Ну, коллеги, продолжим. Смелее! Высказывайтесь! Не тридцать седьмой год на дворе...

Актер Василий Лановой, сидевший рядом, поощрительно ткнул меня в бок. Дождаясь окончания прений, я ловил на себе сочувственные взгляды участников дискуссии и неприязнь разного рода чиновников, но особенно злопамятно поглядывал чиновник, похожий на конфрансье Апломбова из образцового «Необыкновенного концерта». Едва круглый стол завершился, я ринулся к лидеру страны, но был остановлен охраной: «Нельзя!»

– У меня письмо.

– Давайте, я передам, – ласково предложил «Апломбов» и выдернул из моих пальцев конверт.

Вдруг на пороге Путин оглянулся, нашел глазами меня и спросил:

– Письмо-то где?

- У меня его забрали.
- Кто-о?
- Вот... он... – Я кивнул глазами на чиновника.
- Э-э, нет, этот обязательно потеряет. Давайте мне...

Взяв письмо и приложенный к нему свежий номер «ЛГ», президент покинул режимное помещение. А мы двинулись к автобусам. Я прошел мимо группы чиновников, обсуждавших круглый стол. Донеслись слова недовольства, касавшиеся меня, неуправляемого. Они полагали, обсуждение проблем патриотического воспитания должно проходить в тихом благолепии, как именины парализованной бабушки. На подъезде к аэропорту автобус был неожиданно остановлен. Вошли два стриженных крепыша:

- Кто Поляков?
- Я! – откликнулся я.
- И я! – встал политолог Леонид Поляков.
- Юрий Михайлович?
- Я...
- Пойдемте!
- Ну вот, а сказали, не тридцать седьмой! – вдогонку вздохнул Лановой. – Держись, Юра! На улице мне дали в руки большой телефон с антенной и предупредили:
- Говорите громче. В вертолете плохо слышно.

И действительно, из трубки сквозь стрекот донесся голос Путина:

– Юрий Михайлович, я прочитал и письмо, и газету. Вы все правильно пишете. Жаль, что тем, кто меня поддерживает, живется так непросто. Постараюсь помочь. Я уже дал поручение... – он назвал имя «Апломбова»...

- Спасибо, Владимир Владимирович... – чуть не заплакал я.
- Держитесь!
- Держись!

Когда я вернулся в автобус, меня спросили, конечно, зачем и куда уводили.

- С Путиным говорил. Он звонил из вертолета...
- Тебе?!
- Мне...

Стало слышно, как тикают дорогие часы на руке у шефа «Роспечати». Пока летели из Краснодара в Москву, я перечокался и переобнимался с руководителями всех уровней. Такого количества добрых слов от чиновников и деятелей культуры я не слышал никогда. Остается добавить, что хитрым аппаратным маневром «Апломбов» свел обещанную первым лицом помощь газете к таким смехотворным результатам, что и вспоминать-то неловко. Да уж, непросто жить в России те, кто поддерживает Путина...

Вот такая «мемуареска»...

Но, возможно, кому-то больше придется по душе мои размышления о природе, смысле и назначении творчества. Кого-то заинтересует моя версия поздней советской и новейшей истории Отечества. А кто-то воздаст должное ехидным зарисовкам литературных нравов, продолжающим и развивающим темы «Козленка в молоке».

У каждого автора найдутся тексты, которые он мог бы и не писать. У меня, к сожалению, такие тоже имеются. Есть произведения, которые писатель не мог не сочинить. Книга «По ту сторону вдохновения» именно из этого разряда. А то, что автор не мог не написать, нельзя не прочитать. Уж поверьте на слово! Иногда нам, литераторам, можно верить.

Переделкино, февраль 2017 года

Колебатель основ

1. Проснуться знаменитым

В один из январских дней 1985 года (теперь уже не помню, в какой именно) я проснулся, извините за прямоту, знаменитым на всю страну Уснул среднеизвестным поэтом, а проснулся знаменитым прозаиком. Случилось это в тот день, когда январский номер «Юности» очутился в почтовых ящиках трех миллионов подписчиков. Я тоже достал из железной ячейки долгожданный журнал, предусмотрительно вложенный почтальоном в газету (дефицитную периодику в подъездах тогда уже подворовывали), раскрыл и огорчился: с фотоснимка на меня нагло смотрел длинноносый парень, неумело канающий под задумчивого. По советскому же канону фотопортрет должен был улучшать автора, приближая его к идеалу, когда в человеке все прекрасно – далее по Чехову. За образец брали портреты членов Политбюро, висевшие в присутственных местах. Позже пришла мода на «охаривание» лиц известных людей. Мол, такой же человек, как мы с вами! Вон какая бородавка на носу! О том, что это тенденция, имеющая дальние цели, до меня дошло, когда в телевизоре появились уродливые дикторы, которыми можно на ночь пугать детей. Но я забежал вперед.

А тогда, прижимая к груди журнал, я подхватился и поехал в редакцию «Юности», располагавшуюся на «Маяковке» в многоэтажном доме начала XX века над рестораном «София». На второй этаж вела лестница, достаточно широкая для того, чтобы две даже очень крупные фигуры советской литературы, пребывающие в идейно-эстетической вражде, могли свободно разминуться. Тогда писатели противоположного образа мысли печатались в одном и том же журнале. И это было нормально. Теперь же если почвенник и забредет в «Новый мир», то лишь в состоянии полного самонепонимания, – как мужик, который с пьяных глаз ломится в дамскую комнату. Но я снова забежал вперед.

Главный редактор журнала Андрей Дементьев встретил меня своей знаменитой голливудской улыбкой:

- Поздравляю! Чего грустный?
- Вот фотография плохо вышла...
- Какая фотография, Юра! Ты даже не понимаешь, что теперь начнется!

Он не ошибся. В те годы публикация острого романа, выход на экраны полежавшего на полке фильма или открытое письмо какого-нибудь искателя правды, обиженного режимом еще в утробе матери, – все это вызывало умственное брожение и общественное смущение, которые чрезвычайно беспокоили серьезных людей, облеченных властью. Они спорили, совещались, приглашали вольнодумцев в свои кабинеты, гоняли с ними чай, обещали льготы в обмен на сдержанность, а если те упорствовали, наказывали страшно: высылали из СССР прямо в гостеприимные объятия западных спецслужб, приготовивших изгнанцам неплохое трудоустройство, скажем, обозревателем радиостанции «Свобода». Удивительные времена! Судьбу какого-нибудь нудного романа решали на заседании Политбюро, коллегиально, взвешивая все за и против. А вот Крым могли отдать Украине просто так, с кондачка, со всей волонтаристской дури! Странные времена....

Тем, кому сегодня за сорок, не нужно объяснять, что такое «ЧП районного масштаба». Зато продвинутые представители «поколения пепси», читая повесть, могут удивиться: неужели вполне заурядная история личных и служебных неприятностей первого секретаря никогда не существовавшего Краснопролетарского райкома комсомола Николая Шумилина, изложенная начинающим в общем-то прозаиком, могла потрясти воображение современников? Ведь тогда по всей стране, от Бреста до Сахалина, стихийно прошли тысячи читательских конференций,

бесчисленные комсомольские собрания, на которых до хрипоты спорили читатели моей повести. Все печатные органы, включая «Правду», откликнулись на «ЧП...» резко критическими, мягко разгромными или сурово поощрительными рецензиями. Началось с Виктора Липатова (не путать с талантливым Вилем Липатовым, автором «Деревенского детектива»), напечатавшего в «Комсомольской правде» статью «Человек со стороны». Статья была явно заказана комсомольским начальством, не ожидавшим такого ажиотажа вокруг повести о райкоме.

Думаю, слаженная критика «ЧП...» была связана и с внешней реакцией чуждых сил. Василий Аксенов, кажется, по «Голосу Америки» рассуждал о повести, видя в ней первую ласточку весны, которая непременно растопит торосы империи зла. А ведь на дворе стоял холодный январь 85-го, в Кремле боролся с предсмертной одышкой генсек Черненко, и о радикальном сломе системы свободно рассуждать можно было только на Канатчиковой даче. Но литература обладает удивительной способностью ранней диагностики будущих социальных потрясений. Конечно, наутро десятки моих друзей, ночами внимавших «вражьи́м голосам», поздравили меня с признанием на Западе. Впрочем, они очень удивились, что на «ЧП...» никак не отреагировал главный изгнанник – Солженицын. Думаю, ему было не до меня: он уже отошел от идеи сбросить атомную бомбу на СССР, но еще не озаботился тем, как нам обустроить Россию. В ту пору вермонтский отшельник с сизифовым упорством катил вперед свое «Красное колесо», которое дочитать до конца – то же самое, как птице долететь до середины Днепра...

По тогдашним правилам игры раскритиковали меня в прессе, конечно, не за разоблачительный пафос, а за недостаток художественности. Однако любой читатель, владевший основами чтения между строк (этим искусством владели все, кроме моей бабушки, так и не выучившейся грамоте), отлично понимал: начальство в бешенстве, вместо критики отдельных недостатков трехмиллионным тиражом вышло сомнение в базовых ценностях. Кстати, по логике постперестроечного абсурда именно сервильный Виктор Липатов впоследствии сменил либерального Андрея Дементьева на посту главного редактора «Юности» и в конечном счете погубил журнал.

Но я опять поторопился. Все это случилось гораздо позже, а тогда в редакцию шли сотни писем, и мой телефон раскалится от звонков: меня приглашали выступить в библиотеках, институтах, школах, воинских частях, на заводах и даже... в комсомольской организации центрального аппарата КГБ. Меня узнавали, останавливали на улице, чтобы похвалить за смелость и тут же доверительно сообщить, что в одной комсомольской организации было такое ЧП, по сравнению с которым мое «ЧП...» вовсе даже и не ЧП...

Давно замечено, скоропостижная слава обладает уникальным оглуляющим эффектом. Став, по выражению кого-то из журналистов, одним из «буревестников» вскоре начавшейся перестройки, я мог бы до сих пор гордо и гонорарно реять над руинами. Этим, кстати, к своему стыду, я некоторое время и занимался, тем более что следом вышла шумная повесть «Работа над ошибками» (1986), а потом не менее набуревестничавшие «Сто дней до приказа» (1987). Но по мере того, как романтика перемен преобразовывалась в абсурд разрушения, я все чаще задумывался над тем, почему именно мои повести оказались столь востребованы временем и сыграли вопреки желанию автора известную роль в крахе советской цивилизации, к которой я испытывал сложные, но отнюдь не враждебные чувства.

Согласитесь, ажиотажный интерес к моим ранним вещам свидетельствовал о том, что я восполнил некий острый дефицит, удовлетворил спрос общества. На что? На правду, конечно... Тогдашние высшие идеологи никак не могли, то ли по старости, то ли по недообразованности, уяснить, что в плюралистической мешанине мнений правду спрятать гораздо легче, чем на выхолощенных полосах официозной печати, где кривда так же очевидна, как казак, присевший в степи по нужде. Это хорошо поняли и реализовали пиарщики ельцинской

эпохи, до одури заморочившие нас единодушной разноголосицей. Но я, кажется, снова забегаю вперед...

2. Суровые нитки

О советском дефиците, ставшем знаковым словом того времени, еще напишут исследования. Странная, если вдуматься, история: полупустые прилавки в магазинах и полные холодильники в квартирах. Однажды я с бутылкой зашел в гости к своему знакомому – молодому директору школы. «Чем бы нам закусить?» – спросил он и в раздумье открыл стенной шкаф. Там с полу до потолка стояли банки консервов, мясных, рыбных, овощных, фруктовых и прочих, не поддающихся идентификации. «Может, икоркой?» – мечтательно предположил я. «Сахалинской или камчатской?» – уточнил он. Ну в самом деле, о чем свидетельствовали многотысячные и многолетние очереди на приобретение автомобиля – о благополучии или неблагополучии советских людей? Решайте сами... Икру нельзя было купить, но можно было достать. Достать и прочитать при желании можно было и запрещенных Солженицына, Максимова, Войновича... Разумеется, строго каралось, если попался, а под одеялом – обчитайся. Я прочел, обомлел, но меня не посадили. А вот Олега Радзинского, сына известного драматурга и популяризатора, посадили: он, будучи, как и я, учителем, принес запретную книгу в школу ученикам. Нельзя!

Впрочем, если ты сегодня в условиях свободы принесешь в класс и попытаешься впарить детям «Майн кампф» или «Протоколы сионских мудрецов», тебя тоже посадят – за разжигание межнациональной розни. Закон есть закон. Юрий Петухов, неудобный, очень талантливый исторический писатель, в начале нулевых годов издал книгу, где предложил неполиткорректную версию древней истории Ближнего Востока. Если грубо, его гипотеза выглядела так: семитские племена долгое время жили под стенами хеттских городов и питались отбросами высокоразвитой арийской цивилизации. Спорно, конечно, но бывают гипотезы и почуднее. Так вот, на Петухова по заявлению бдительных граждан завели дело. Тюрьмы он избежал только благодаря гневному письму ведущих литераторов, опубликованному в «Литературной газете». Узнав, что дело закрыто, несчастный пошел на могилу к матери – поделиться радостью, там, за оградкой, и помер от сердечного приступа, не дожив до пятидесяти...

Но вернемся в мрачное советское прошлое. Борьба с дефицитом заменяла конкуренцию. В обществе провозглашенного и относительного равенства способность человека преодолеть дефицит во многом определяла его положение в социальной иерархии. И не важно, выражалось это в том, что он мог достать импортный мебельный гарнитур, добыть кожаный пиджак а-ля Дом кино или умел пробить сквозь цензуру книгу о том, о чем другим писать не дозволялось. Пробить можно было талантом, родственными связями или дачными знакомствами с партийными иерархами. Чаще – и тем и другим совокупно. Большими мастерами такого «диалога» были шестидесятники, умевшие элегантно дерзить советской власти, не выпуская из губ ее питательных сосцов. Да и Жванецкий был большим любителем почитать свои юморески на номенклатурных фазендах.

Впрочем, наша идеология в ту пору переживала кризис, связанный с медленной сменой поколений во власти. Например, давно стало ясно, что принудительный атеизм ни к чему хорошему не приведет, но терпеливо ждали, пока уйдут на покой (читай – из жизни) несколько кремлевских старцев, в юности подцепивших от Емельки Ярославского неизлечимый вирус безбожия. Или вот еще случай, как говаривал дед Щукарь. Году в 1984-м Лариса Васильева пригласила меня принять участие в составлении альманаха «День поэзии». На редколлегии мы решили напечатать большую подборку Николая Гумилева навстречу 100-летию поэта, чьи стихи, кстати, входили в вузовскую программу по истории русской литературы XX века. И про «изысканного жирафа» знал любой мало-мальски начитанный советский человек. Каково же было наше удивление, когда цензор снял всю подборку из верстки. «Как? Почему?» – «Гумилев был расстрелян за участие в контрреволюционном заговоре!» – был ответ. «Но он же во-

дит в вузовский курс!» – «Изучать – да. Пропагандировать – нет!» – отрезал уполномоченный Главлита. «Ах, так! – рассердилась Лариса Николаевна. – Я дойду до Политбюро! Гумилев – великий поэт!» И она, дама очень влиятельная, дочь конструктора танка «Т-34», жена крупного журналиста невидимого фронта, дошла-таки. Но получила тот же ответ: «Не надо раскачивать лодку!» Гумилев – замечательный поэт, но время еще не пришло. В СССР вообще жили спокойно, размеренно и неспешно, как в профсоюзном профилактории. А куда спешить-то? Законы мирового развития работают на нас. И опоздали буквально на несколько лет...

Помню, как-то и меня, молодого редактора многотиражки «Московский литератор», вызвали на Китайский проезд, в Главлит. «Ну и как это понимать? – спросил цензор университетского вида и ткнул ухоженным ногтем в строчку поэта-фронтовика Николая Панченко:

Зашивали суровыми нитками рот.

Я почувствовал, как сердце и партбилет, лежавший в левом боковом кармане, сообща болезненно затрепетали. Надо было что-то отвечать, безмолвствовать в ответ на вопрос начальства – гарантированная гибель, и меня озарило: «Он фронтовик. У него было челюстное ранение...» – «Челюстное ранение? – задумчиво повторил цербер и улыбнулся. – Ну, тогда другое дело!» Вот те на... Советский читатель во всем искал фронду, подобно тому, как эротоман в любом бытовом предмете ищет сексуальную аллюзию. Какая читателю, в сущности, разница – «зашивали рот» лирическому герою в буквальном или переносном смысле? И без того все знали, что в СССР нет свободы слова. Знал это и цензор, тяготился своими обязанностями и, пользуясь формальным поводом, разрешил чуть больше, чем обычно. В конце девяностых я встретил его на книжной ярмарке, он стал издателем и выпускал популярную серию «Улица красных фонарей».

О кризисе советской экономики тоже сказано немало. Но был ли этот кризис таким уж необратимым, если на ресурсах развитого социализма мы продержались целое десятилетие, ушедшее на эксперименты, похмельные чудачества и тотальное воровство? Боже, сколько миллионеров, застроивших полмира своими замками, поднялось только на распродаже советского ВПК и распиле гигантов пятилеток! Да, мы были богатая страна с бедным народом. Теперь мы бедная страна с бедным народом.

Как-то я попал на передачу «Суд истории», разумеется, на стороне громокипящего Сергея Кургияна. Вокруг Николая Сванидзе, страдающего острым инбридинговым антисоветизмом, сбилась стая «младореформаторов» во главе с рыжим бригадиром Чубайсом. Они шумно хвалились, как в 91-м спасли страну от голода. Рядом со мной сидел бывший главный банкир Геращенко и кипел тихим негодованием: «Я сейчас все про них расскажу! Спасители хреновы!» Наконец, он не выдержал и бросил им что-то невнятное про какой-то мутный подзаконный акт. И горластые «спасители» испуганно затихли, словно им предъявили отпечатки их же пальцев на горле жертвы. «Почему же вы все про них не рассказали?» – спросил я, когда передача кончилась. Геращенко вздохнул: «Все равно никто не поверит, что такое можно вытворять со своей страной!» – и посмотрел на меня грустными глазами человека, причастного к страшным тайнам финансового Зазеркалья.

Гуманитарный склад ума натолкнул меня на мысль, что крах советской цивилизации объясняется в основном духовно-нравственными причинами. Однако диссиденты тут ни при чем или почти ни при чем. Узок, как говорится, круг этих революционеров, страшно далеки они от народа и подозрительно близки к зарубежным спецслужбам. Подспудное или явное презрение элиты к собственной стране, к ее историческому выбору ведет к катастрофе. Так и случилось. «Контрэлита» всегда предлагает новый путь национального развития. Наша «контрэлита», приведенная Горбачевым, смогла лишь оформить условия позорной, если не пре-

ступной, капитуляции перед геополитическим противником, после чего разбежалась на ПМЖ по теплым странам.

Вот лишь один пример. Я пишу эти строки в Калининграде, куда можно долететь только самолетом. Сухопутного коридора нет. Почему? Я служил в Группе советских войск в Германии. Наша часть стояла прямо на обочине Гамбургского шоссе, по которому транзитом шли вереницы автомобилей из ФРГ в Западный Берлин. А над нами по воздушному коридору челночили натовские самолеты, включая разведывательные «рамы». То есть безоговорочно капитулировавшей Германии позволили иметь сухопутную связь между разорванными частями рейха. А России, добровольно влившейся в общечеловеческое братство, не разрешили? Нет, ситуация еще хуже, позорнее: тогдашние «новомышленцы» даже не догадались поставить этот вопрос. Кто-нибудь ответил за это грандиозное головотяпство? Конечно же, ответил, и по всей строгости. Адмирал Рык, взяв власть в России, приказал ловить «врагоугодников» и «отчизнопродавцев» по всему миру, вытаскивать из приморских вилл и альпийских шато, этапировать на родину, а там сажать в «демгородки», строго охраняемые садово-огородные товарищества. Об этом я написал в 1993 году в повести «Демгородок».

3. Почему все рухнуло?

Почему же тогда рухнула советская власть? Отчасти из-за стабильности. В стабильные времена трудно сделать головокружительную карьеру или внезапно разбогатеть. Слово «застой» не случайно стало впоследствии ключевым. «Застой» заключался не только в том, что страна теряла темпы развития и мешкала с ответом на вызов времени, но и в том еще, что активная часть народа в буквальном смысле – застоялась. Советская власть, как женщина, безоглядно наблудившая в молодости, к старости стала чрезвычайно разборчива в новых знакомствах, инициативах и увлечениях. Кроме того, мы все были заражены верой в необратимость прогресса. Нам казалось, что, скажем, обещанное обеспечение каждой семьи отдельной квартирой осуществляется медленно не по объективным причинам экономического порядка, а из-за субъективной неповоротливости советской власти. Теперь, когда приезжаешь в город, где последняя многоэтажка построена в конце восьмидесятых, начинаешь многое понимать. А еще больше понимаешь, когда видишь, что единственный новый роскошный дом, воздвигнутый на Губернской (в недавнем прошлом Коммунистической улице) – это офис Альфа-банка, в лучшем случае – «Газпрома».

Но тогда всем очень хотелось перемен. Прыгучий певец-композитор и, как выясняется, поэт Газманов, освоив рифму «прилетел-хотел», даже песню сочинил про «ветер перемен». Об урагане-то никто и не помышлял... Мрачный, как ветер в трубе крематория, Виктор Цой тоже хотел перемен. Тогда казалось, будущее не может быть хуже настоящего только потому, что оно – будущее, которое в советской картине мира обязано быть светлым... Неслучайно одним из первых лозунгов Горбачева стало «ускорение». А ведь, если помните, в замечательном рассказе Г. Уэллса «Новейший ускоритель» на героях от чрезмерно быстрого движения загорелись штаны. Наши штаны просто сгорели. Увы, неодолимое желание перемен овладевает массами, когда основные жизненно важные желания уже удовлетворены. Блокадники и не думали устраивать из-за мизерных пайков новую революцию наподобие той, что грянула в феврале семнадцатого из-за перебоев с завозом хлеба. Никому не приходило в голову попросить фашистов наладить снабжение в осажденном городе. Правда, странноватый поэт-обериут Даниил Хармс ходил по Невскому и высказывал пожелание, чтобы немцы поскорей взяли «колыбель революции». В результате его забрали в сумасшедший дом, где бедняга и умер. Запомним это.

Раздумья над опытом былых революций лично меня привели к переосмыслению известной ленинской формулировки о верхах, которые не могут жить по-старому и низах, которые не хотят... Ведь «голодные» демонстрации в революционном Петрограде происходили, когда сибирские амбары ломались от хлеба. Формула о верхах и низах более подходит к бракоразводной, нежели революционной ситуации. Революционная ситуация начинается с того, что именно верхи не хотят жить по-старому. Именно верхи свергли последнего российского императора.

Когда я, паренек из заводского общежития, сочинявший стихи, впервые оказался на поэтической пирушке, устроенной в огромной цеховской квартире в Сивцевом Вражке, я поразился тому, как ее обитатели, в особенности молодые, ненавидят советскую власть. Стол ломился от невиданной снеди из распределителя, на полках стояли недоступные рядовым гражданам книги, а разговор шел в основном о том, какие «коммуняки» сволочи. Позже я понял смысл этого недовольства. Люди в ондатровых шапках уже не хотели быть номенклатурой, зависящей от колебаний политической конъюнктуры, они хотели быть незыблемым правящим классом – с гарантиями, которые дает только большой счет в банке, желательно – швейцарском. Отцы еще привычно осторожничали в выражениях, а дети с юным задором лепили напрапалую. Тот же Егор Гайдар вырос, между прочим, в семье члена редколлегии газеты «Правда», сухопутного адмирала и писателя Тимура Аркадьевича – приемного сына автора «Чука и Гека». Гайдар-средний, кстати, нередко приводил сына в Дом литераторов пообедать.

Я как-то оказался за соседним столиком и слышал нервные окрики папаши: «Егор, не чавкай, Егор, не чмокай!» А Егорушке было уже под тридцать...

Это недовольство верхи искусно транслировали вниз по социальной лестнице. С чего бы вдруг один из самых благополучных отрядов советского рабочего класса – шахтеры – начал стучать касками, требуя, вы подумайте, – закрытия шахт! Их убедили, что это им выгодно. Обманули, конечно. Но к тому времени, когда они осознали «разводку», верхи уже были довольны новой жизнью и умело навязывали свое удовлетворение всему обществу. Только этим можно объяснить тот странный на первый взгляд факт, что всеобщее обнищание в начале шоковых реформ не привело к всенародному восстанию. Восстание – это спектакль, историческая постановка, требующая средств и режиссуры. А спонсоры и режиссеры уж почили на ваучерах.

Какое отношение эти пространные рассуждения имеют к моим первым повестям? Самое непосредственное. Сейчас много говорят о виртуальной реальности. Тогда, в начале 80-х, этого слова в нашем языке еще не было, но сама виртуальная реальность, конечно, была. Она была всегда. Римский император, возводя свой род к богам или героям, выстраивал именно виртуальную реальность в умах современников. В чем же особенность виртуального мира, созданного советской властью? Это был чрезвычайно оптимистичный, очищенный от всего недостойного, прекрасный и яростный мир. Если недостатки – то отдельные. Если порыв – то всенародный. Если бой – то последний и решительный. Советская власть слишком много обещала. Готовя собрание сочинений и извлекая из архива газеты с рецензиями на мои первые повести, я снова погружался в тот подзабытый виртуальный мир и вспоминал почему-то знаменитый некогда анекдот про любовника жены парфюмера. Напуганная внезапным возвращением супруга, дама закрыла дружка в сундуке, где хранился мужнин товар. Помните, чего потребовал несчастный ловелас через сутки, когда его наконец выпустили на свежий воздух? Для того чтобы прийти в себя, он потребовал немедленно поднести к его носу тот продукт пищеварительной деятельности, без упоминания о котором нынешние постмодернисты не способны связать и двух слов. Это важно!

Советский человек существовал в двух мирах – в реальном, далеком от идеала, и в идеальном, далеком от реальности. Нельзя сказать, что эти два мира не были связаны – они постепенно, точнее, скачкообразно, сближались. И главную роль в этом сближении тогда играло искусство, прежде всего – литература. Именно в литературных произведениях обкатывались идеи и новации, прежде чем лечь в основу нового идеологического дискурса. Сначала «деревенская проза», потом постановление ЦК о Нечерноземье. Бывало, правда, и наоборот, но про это чуть позже. И все же разрыв между реальностью и идеологическим мифом оставался велик. Когда человеку каждый день объясняют, что он живет если не в раю, то, во всяком случае, в предрайских кущах, столкновение с реальной жизнью ранит его особенно остро. Вы не задумывались, почему информационные блоки нынешнего телевидения перенасыщены негативной информацией? Кого-то взорвали, кто-то замерз или утонул, кого-то расчленили, кто-то проворовался, кого-то противозаконно изнасиловали... По сравнению с таким виртуальным миром сегодняшняя реальная жизнь вроде бы не так уж и страшна.

Русский человек, точнее, человек, воспитанный русской культурой, традиционно верит в целительную силу слова. Ему кажется, что, назвав зло своим именем, он нанесет ему смертельный удар. Вот почему с таким восторгом была встречена гласность. Мало кто задумывался о том, что глас вопиющего в пустыне – тоже разновидность гласности. Советская власть, выстроившая систему табу вокруг многих, как тогда выражались, негативных явлений, забыла, что табу и запреты – методы скорее детской педагогики. Взрослому надо объяснять. Честно или лживо. А народ в результате просветительской деятельности той же самой советской власти повзрослел и поумнел. То, что в двадцатые годы принимал на веру рабфаковец с горящими глазами, позднесоветский «мэнээс» брезгливо отвергал. Ну как же – он читал Сартра и Булгакова! Но он позабыл, что такое братоубийство, разруха и нищета. Не ведал он и что такое откровен-

ное предательство интересов страны властной верхушкой. Шестидесятники убедили его, что Сталин, расправляясь с троцкистами, тешил свою паранойю, а не очищал элиту от реальных и потенциальных изменников. Вместе с явной ложью советской пропаганды мыслящий советский слой отвергал и вещи совершенно очевидные, не хотел верить в навязчиво разоблачаемую советской прессой агрессивность Запада. Ну как же! Страны, где народ не стоит в очереди за пивом, не могут желать человечеству зла! Теперь, после бомбежек Югославии, онкологического разрастания НАТО, после Ирака, Ливии, Сирии, наш человек поверил. Теперь, после превращения Донецка и Луганска в прифронтовые города, он понял, что Запад устроил на Украине. Теперь, когда Россию, как геополитического шалопаю, поставили в угол экономических санкций, у него появились сомнения в добрых намерениях «партнеров». А толку? Это называется: быть мудрым на следующее утро.

Русская литература традиционно специализировалась на срывании масок и разрушении табу, нередко путая табу с национальными идеалами, которые лучше не трогать. Я тоже искренне считал здравый смысл и жажду правды выше овечьих веками святынь и возвышающих обманов. Я даже писал в «Огоньке», что не бывает правды очерняющей или мобилизующей – бывает просто правда, факт жизни, без всяких там эпитетов. Я ошибался. Я не понимал, что существует иерархия «правд». Для наглядности возьмите в руки матрешку. Вы никогда не вставите большую матрешку в меньшую. А вот большую правду можно при желании спрятать в меньшую. С этого, собственно, и начинается манипуляция сознанием. Простейший пример – возвращение Крыма. Малая правда очевидна: Крым был украинским, а стал российским. Значит, аншлюс? Позор хищному северному медведю! А вот вам большая правда: Крым всегда был российским, с момента падения тамошнего ханства, подвассального Стамбулу. В 1950-е годы полуостров незаконно даже с точки зрения советской процедуры отдали в административное управление Украинской ССР, входившей в Советский Союз и реальной государственности не имевшей. При развале Союза Крым не был возвращен России, хотя очевидно, что выходить из СССР республики должны были в тех границах, в каких вошли. А принадлежность территорий, «нагулянных» во время пребывания в «Красном Египте», должна решаться с помощью референдума. Такой референдум состоялся в Крыму весной 2014 года и показал, что население единодушно хочет назад, в Россию. Это большая и неоспоримая правда. Интересно она кого-нибудь, кроме нас? Никого. Ее засунули в малую правду и не видят в упор. Точнее, не хотят видеть.

Увы, я тоже не раз принимал малую правду всерьез, верил, горячился. Но если бы я не ошибался, я бы никогда не стал писателем. Писательство – преодоление собственных заблуждений. Кто не заблуждается – тот не творит. Осознанная ошибка – самый прямой путь к истине. Ничто так не обостряет творческие способности, как стыд за свои заблуждения. Но беда в том, что именно ложные истины чаще всего отливаются в бронзу и пишатся на знаменах, ведущих людей на разрушение надоевшего миропорядка. Потом можешь оборотиться, объясняя, что ошибался. Твоя ошибка давно уже стала правдой момента. Думаю, если бы Солженицын сжег себя на Красной площади в знак протеста против тиражирования его давнего, опровергнутого наукой утверждения, будто сталинский режим сгноил сто миллионов соотечественников в лагерях, мировое сообщество, погоревав о смерти нобелевского лауреата, продолжило бы ссылаться на полухудожественный «Архипелаг Гулаг» как на документ. Но Александр Исаевич даже не извинился за свою обидную для нашей страны ошибочную гигантоманию.

Да, писатель по своей природе – мифотворец, именно поэтому особенно смолоду он жаждет разрушать мифы, которые навязывает ему общество. Мифы и каноны. А советский писатель был опутан канонами с головы до ног. Это не значит, что западный писатель ничем не опутан – просто там другие пути. Писатель с нормально развитым нравственным чувством всегда подсознательно ощущает разрушительную природу своего дарования и потому – в противовес, что ли, – приходит, как правило, к консервативным политическим убеждениям. Но

стоит ему начать художественно утверждать существующую систему социальных мифов, как это заканчивается творческой катастрофой. Такой вот грустный парадокс...

Анализируя судьбу моих первых трех повестей, я думаю иногда вот о чем. Повинуясь внутреннему велению, я (как и некоторые другие мои ровесники-писатели) словно достиг края советской литературы и выглянул вовне: дальше начинался уже совсем иной мир, строящийся на других принципах и идеях. В отличие от обитателей литературного андеграунда я оставался по мироощущению и поведению не только советским человеком, но и советским писателем. Однако какая-то неведомая сила все же гнала меня и толкала к зыбкой грани. Мои первые повести – это еще советская литература, но в них уже есть недопустимая для советской литературы концентрация нравственного неприятия существующего порядка вещей. Возможно, именно эта двойственность и нашла такой живой отклик в душах читателей, тоже балансирующих в то время на грани перемен.

Мудрый Сергей Михалков когда-то давно, поддерживая меня в борьбе за публикацию «Ста дней до приказа», сказал в своей обычной насмешливо-серьезной манере кому-то из партийного начальства:

– Вы с Поляковым поаккуратнее. Он последний советский писатель...

4. «Стой, кто идет!»

Особенно пристально власть предрержащие надзирали за соблюдением канонов, когда дело касалось опор общества, а к их числу принадлежали, безусловно, сама власть, школа, армия... О них-то я и написал.

В армию я попал осенью 1976 года, после окончания педагогического института, немного поработав в вечерней школе № 27, располагавшейся в дореволюционном здании на Разгуляе. Кажется, раньше там была гимназия... Теперь 27-й вечерней школы нет. Власть больше не борется за то, чтобы каждый гражданин имел как минимум среднее образование. Власть борется за то, чтобы каждый гражданин платил налоги.

Кстати, именно в этой части старой Москвы прошла первая половина моей жизни. Из Лефортова, из роддома, что окнами на Немецкое кладбище, я был привезен в огромную коммунальную квартиру на углу Маросейки и Архипова, недалеко от памятника героям Плевны. В комнатке обитали мои родители, бабушка, тетя, незамужняя сестра отца, и я. Единственное окно было в потолке и выходило на чердак. Младенческая память сохранила цветастую занавеску, отделявшую наш семейный угол, и это запыленное окно, по которому время от времени металась тень. Большая тень – кошка, маленькая – мышка. В схожих условиях тогда жило большинство москвичей. Тех, кто, скитаясь по многокомнатной отдельной квартире, страдал от тоталитарного произвола, было совсем немного. Потом родители получили комнатку в заводском общежитии маргаринового завода в Балакиревском переулке, рядом с товарными путями Казанской железной дороги – Казанки. Очередь в туалет и к умывальнику была обычным делом, а когда нам дали комнату побольше, со своим умывальником, – это казалось головокружительным комфортом вроде президентского номера в отеле. Лишь в 69-м мы переехали в отдельную квартиру в новый дом в трех автобусных остановках от станции Лосиноостровская, окрестности которой в ту пору были еще застроены деревянными теремами – остаток дореволюционного дачного Подмосковья. Учился я в школе № 348 на углу Балакиревского и Переведеновского переулков. Рядом, на Спартаковской площади, располагался Первомайский дом пионеров, где я искал себя в изостудии и кружке струнных инструментов. Там теперь театр «Модерн», где идет моя комедия «Он, она, они».

На другой стороне Бакунинской улицы и сейчас можно видеть старообрядческую церковь – там я занимался боксом в секции «Спартака». Однажды на тренировке я пропустил сильный удар в лоб и неделю не ходил в секцию: жутко болела голова. Когда же я снова появился, тренер строго спросил:

– Почему пропустил тренировки?

– Голова болела.

– Грипп, что ли?

– Нет... Помните, я удар пропустил?

– Помню... – Тренер нахмурился. – От одного удара у тебя неделю болела голова? Вот что, мальчик, бокс не твой спорт. И чтобы я тебя здесь больше никогда не видел!

Возможно, благодаря бдительности опытного тренера я имею сейчас умственную возможность писать эти строки. Кто знает...

Окончив школу, я поступил в пединститут имени Крупской на улице Радио, близ Лефортова, в двадцати минутах ходьбы от родного общежития. Вернувшись посреди учебного года из армии, я попал на работу в Бауманский райком ВЛКСМ на улице Лукьянова в трех минутах ходьбы от 27-й школы. Кстати, имя Александра Лукьянова, летчика, Героя Советского Союза, носила наша пионерская дружина, и я, как отличник и активист, ездил в Волхов, чтобы возложить венок к стеле на месте его гибели. А возле Елоховского собора в классическом особняке помещалась библиотека имени Пушкина, где я пропадал, если выдавалось свободное время.

Весь очерченный кусочек старой Москвы можно за час-полтора обойти прогулочным шагом. Эти места и стали в моих книгах несуществующим Краснопролетарским районом столицы, если хотите, моей Йокнапатофой и Гринландией.

Но вернемся в 1976-й, когда из школьного учителя я превратился в солдата. В Орехове-Борисове собрались проводить меня в армию все тогдашние друзья-товарищи: Мишка Петраков, Петька Коровяковский, поэты Александр Аронов, Игорь Селезнев и Петр Кошель с женой Инессой Слюньковой – дочкой крупного партийного деятеля и будущим известным историком архитектуры. В среде творческой интеллигенции призыв в армию воспринимался тогда как общечеловеческая трагедия, и пили в основном за то, чтобы я не растерял свой талант в марш-бросках и не замотал в портянки. Мрачный по обыкновению Кошель дал совет: «Не лезь куда не надо и не делай то, чего не просят!» Потом Петя, щуплый, как канатоходец, приревновал жену к своему огромному тезке Коровяковскому, и мы долго их мирили.

– Прошу вывести негодяя вон! – кричал Кошель и указывал на дверь жестом римского полководца.

– Вот еще! – ухмылялся в усы второй Петя и наливал себе новую рюмку.

– Он большой поэт! – объяснял я другу детства.

– А я знаю китайский! – отвечал тот и снова выпивал.

Наконец мы остались с Натальей вдвоем. Нам предстояло налюбоваться на целый год! Впрочем, не все было так трагично. Еще летом я встретил в коридоре «Московского комсомольца» Лешу Бархатова, одетого в подогнанную «парадку» с ефрейторскими погонами. Я его знал: до призыва он работал в «МК» корреспондентом. У меня к тому времени тоже, кстати, имелось удостоверение внештатного корреспондента этой газеты. Разговорились, и я скорбно сообщил: моя аспирантура накрылась медным тазом и осенью мне идти в армию.

– Гениально! Ты-то мне и нужен!

Оказалось, он два года отслужил в части, расположенной в Москве и приданной столичному пожарному управлению. Леша выполнял функции, как сказали бы сегодня, пресс-секретаря, сочиняя статьи для разных изданий об опасности неосторожно брошенного окурка. Осенью заканчивался срок его службы, и руководство попросило подыскать среди журналистов-призывников замену.

– Да ведь ты писал про пожарных! – воскликнул он. – Сегодня же доложу наверх!

– Еще бы! – солидно кивнул я.

Речь шла о фельетоне «Сигарета, сигарета...», опубликованном в «Московском комсомолец» под моей фамилией. Меня и в самом деле направляли в пожарную часть для сбора материала, но я по неопытности совершенно запутался в фактах безответственного обращения граждан с огнем, и текст мне за бутылку сочинило признанное сатирическое перо «МК» – Володя Альбинин.

– Учись, пока я жив! – сказал он и за полчаса, пока я бегал за бутылкой, накатав «подвал».

Умер Альбинин от цирроза печени.

Бархатов перезвонил мне через несколько дней, я съездил куда надо и был представлен краснолицему майору, он в ходе беседы задавал наводящие вопросы, выясняя, не склонен ли я к спиртному, – проблема, видимо, болезненная для пожарных подразделений. Наконец майор сказал, что я им подхожу.

– А как я попаду к вам с пункта призыва?

– Не волнуйся, наш офицер «купит» тебя на городском призывном пункте.

– Как это «купит»?

– Ну заберет, заберет. Пока карантин и «школа молодого бойца», придется посидеть в казарме, а потом на выходные будешь ездить к жене. Но если в воскресенье в 20.00 в часть не вернулся – дезертир! Понял?

– Так точно, товарищ майор! – расцвел я.

В тот миг у меня во всем свете было два любимых существа – жена Наталья и военизированная пожарная охрана. Однако закончилось все очень плохо. Тщетно я ждал на городском пункте обещанного офицера-покупателя. Он так и не пришел. Бродя в мучительном предчувствии по этажам, я вдруг столкнулся нос к носу с моим недавним учеником Зелепукиным. Остриженный наголо и одетый, как и я сам, в какие-то обноски, он сначала оторопел, а потом заржал: «Юрий Михайлович! А вас-то за что?!»

Уже вернувшись из армии, я узнал, что произошло. Такую же повестку, как и я, получил сотрудник «Комсомольской правды» Александр Шумский, тоже, кстати, поэт. Он-то и занял мое место при пожарном начальстве, которое, забыв про обещания, предпочло известного журналиста из всесоюзного издания какому-то внештатнику городской молодежи. Понять их можно. Шумский, очень талантливый парень и мажор, вскоре после возвращения из армии погиб, разбившись на автомобиле.

А я стал рядовым в/ч пи 47573, заряжающим с грунта батареи самоходных артиллерийских установок, и обменял российскую метель на германскую зимнюю сырость: наш полк стоял в городке Дальгов, неподалеку от Западного Берлина. Теперь это уже Берлин. Узенькое Гамбургское шоссе, плотно обсаженное липами, стало широкой автострадой. На месте военного городка – коттеджный поселок и скидочная деревня. Если внимательно присмотреться к некоторым домам, можно различить в них черты былой казармы, облагороженной экономными немцами. В клубе, стилизованном под замок, сначала сделали музей советской оккупации, а теперь там центр толерантности. Кое-где сохранились ангары и многоэтажные заколоченные казармы – память о несметной советской силе, стоявшей здесь сорок пять лет и ушедшей по своей воле. Американцы, кстати, не закрыли в Германии ни одной базы. За опасным союзником, имеющим такой опыт наступательных войн, надо приглядывать. Между прочим, в ФРГ недавно разрешили переиздать, как исторический памятник, «Майн кампф». И что же? Книга побилла все рекорды продаж.

В Олимпийской деревне, где я дослуживал в дивизионной газете «Слава», теперь музей под открытым небом, посвященный берлинским Олимпийским играм 1936 года, в которых СССР, кстати, протестуя против фашистского режима, не участвовал. Зато США, Англия, Франция – все тут как тут. Еще как участвовали, заселив пол-олимпийской деревни. Правда, интересно? Между прочим, там, где жила американская команда, в домиках, выстроившихся каре вокруг плаца, и располагалась наша комендантская рота. Об этом дружном участии в фашистской Олимпиаде будущих членов антигитлеровской коалиции хоть кто-то вспоминает? Никто. Большую правду о причастности Запада к зарождению и усилению фашизма давно спрятали в малую правду о пакте Молотова – Риббентропа. Вот так...

Я служил в мирной армии: полуостров Даманский уже подзабылся, а Афганистан еще не грянул. Сейчас, одолев значительную часть жизни и побывав в различных ситуациях, я понимаю, что служил в общем-то в нормальных условиях, которые, скажем, «срочнику», попавшему в Чечню, показались бы раем. Во всяком случае, мне, как призывникам начала 90-х, не приходилось просить милостыню под магазином, чтобы подкормиться. А нашим офицерам не надо было сторожить автостоянки, чтобы свести концы с концами, ибо на денежное довольствие прожить семье было невозможно. Наоборот, молоденький лейтенант, едва окончивший общевойсковое училище, был вполне обеспеченным человеком в сравнении, к примеру, со мной – выпускником пединститута.

Но, рискуя повториться, напомним: советский юноша шел служить в идеальную армию, а попадал в реальную, где офицеры не были все как один мудрыми наставниками из фильма «Весенний призыв», эдакими Макаренко в фуражках. Нет, то были обычные люди, изнуренные гарнизонной жизнью и семейными проблемами. Впрочем, служба в Группе советских войск в Германии считалась престижной, и какой-нибудь лейтенант в Забайкалье мог только грезить

о зарплате в марках и «Мадонне», сервисе на двенадцать персон, без которого не уезжал из ГСВГ ни один офицер. Я тоже получал в валюте – 15 гэдээровских марок в месяц. Бутылка молока в солдатской чайной стоила 20 пфеннигов, «леопардовый» плед – 10 марок.

Я попал в обычный солдатский коллектив, где нормальная мужская дружба уживалась и даже переплеталась с жесткостью так называемых неуставных отношений. Но все это было вполне терпимо – непереносимым лично для меня оказался конфликт между образом идеальной армии, вложенным в мое сознание, и армией реальной. Конечно, это недоумение испытывал каждый юноша, надевавший форму, но я-то был начинающим поэтом, то есть человеком с повышенной чувствительностью. Стоя во время разводов на брусчатке, еще помнившей гулкий шаг солдат эсэсовской дивизии «Мертвая голова», я думал: вот вернусь домой и обязательно напишу об этой, настоящей армии. Как всякий советский человек, я верил в целебную силу правды, особенно в ее художественном варианте. Кроме того, существует особая молодая жажда поведать о том, о чем твои литературные предшественники умалчивали. Я тогда не понимал, что фронтовому поколению писателей, хлебнувшему настоящей окопной войны, – все эти гарнизонные страдания призывника 70-х казались слабачеством, пустяками, не заслуживающими вмешательства такой серьезной инстанции, каковой являлась советская литература.

Дослуживал я, правда, в редакции дивизионной газеты «Слава», куда отправил несколько своих стихотворений. Бойцы меж собой прозвали этот двухполосник – «Стой, кто идет!», считая его совершенно бесполезным листком. Он даже на самокрутки не использовался, как в военные годы, ведь советскому солдату выдавали в месяц 18 пачек сигарет: старослужащим – вполне приличные «Охотничьи» (их даже офицеры покуривали), а салагам – «Гуцульские», от которых комары падали замертво. Некурящим полагался сахар.

Когда в январе 1977-го в журналах «Молодая гвардия» и «Студенческий меридиан» вышли подборки моих стихов, в судьбе «заряжающего с грунта» наметились перемены. А в мае за мной на «козлик» приехали маленький майор Царик, редактор «дивизионки», и рослый прапорщик Гринь, начальник типографии, имевшей в своем распоряжении целых трех наборщиков. Меня посадили в «газик» – и через десять минут мы были в Олимпийской деревне.

Утром, после зарядки, поверки и завтрака, я отправлялся к новому месту службы – в редакцию дивизионной газеты «Слава». Я шел вдоль рычавшего за бетонным забором Гамбургского шоссе, мимо почты и пруда, обросшего ветлами. В купах, склонившихся к воде, стонали, будто изголодавшиеся любовники, немецкие горлицы – каждая размером с хорошего бройлера. Справа у меня оставался олимпийский бассейн, где по ночам, если верить слухам, тренировались наши подводники-диверсанты, готовые при необходимости, пробравшись по дну Шпрее, вынырнуть в центре Западного Берлина. Вдалеке виднелось главное подковообразное здание Олимпийской деревни. Там были и столовая, и клуб с кинозалом, и роскошная библиотека, и дивизионные службы. Иногда я видел, как подъезжал на «Волге» командир дивизии. По благоговейной суете оказавшихся рядом офицеров это напоминало возвращение Юлия Цезаря с очередной победной войны. Много лет спустя автор «ЛГ» генерал Владимиров рассказал мне, как, будучи назначенным в конце 1980-х командиром нашей дивизии и представляясь командующему ГСВГ, он получил такое напутствие: «Хозяйство у вас сложное. Рядом Берлин. И, кстати, именно в 20-й служил этот самый писателишко. Ну, вы поняли, “Сто дней до приказа”... Поаккуратней!»

Редакция газеты «Слава» располагалась на первом этаже административного корпуса, построенного в виде русской буквы «П». А кругом теснились коттеджи под черепицей, оборудованные по последнему слову довоенной жилищно-бытовой мысли. Когда-то в них жили спортсмены-олимпийцы, тренеры, врачи и обслуживающий персонал. Однако за сорок лет дома сильно обветшали. Большинство строений использовалось как семейные общежития. Отдельные квартиры имели только старшие офицеры. По городку бегали огромные, совсем не

пугливые крысы, к ним относились почти как к кошкам, правда, желание погладить шерстку завершалось укусом и уколами от бешенства.

В редакции меня приняли хорошо, даже с пиететом, какой только возможен к солдату срочной службы со стороны военных журналистов, ведь никто из них в общесоюзных изданиях не печатался, а лишь в армейских. Малосенькая заметка в «Красной звезде» была для них грандиозным событием. Часто можно было услышать такой ревнивый разговор:

– Видел, Макакин в «Звездочке» прорезался?

– Видел. А с виду дурак дураком...

Редактор газеты майор Царик (родом, кажется, из Молдавии) был человеком живым, творческим и по складу характера совсем не военным. Каждый раз, вернувшись из политотдела, он жаловался: «Опять сделали замечание, что у меня короткие брюки. Разве?» Мы внимательно смотрели на него и хором уверяли, что брюки исключительно уставной длины, хотя на самом деле они сильно смахивали на куцые клоунские штаны, открывавшие взору невыразимые носки.

Царик писал большой роман, семейно-любовную сагу, то, что мы теперь называем «мылом». Текст по мере сочинения перепечатывала редакционная машинистка, а мы – ответсекретарь газеты капитан Щепетков, корреспондент лейтенант Черномыс, прапорщик Гринь и я – читали и высказывали мнение, разумеется, бурно положительное. Однажды машинистка перестала печатать и заплакала, а мы, узнав, в чем дело, возмутились: главную героиню, юную красавицу, едва окончившую школу, автор ни с того ни с сего лишил невинности с помощью траченного молью офицера-прохиндея. На все наши просьбы вернуть девственность героине и покарать мошенника в погонах Валентин Иванович отвечал отказом и вздыхал, мол, в жизни чаще бывает именно так. Вероятно, за этим скрывался какой-то грустный личный опыт...

Конечно, мне, воспитанному на Солоухине, Катаеве, Трифонове, Распутине, Леонове, эта проза казалась всего лишь «имеющей право на существование» – так мой друг Игорь Селезнев именовал совсем уж слабые стихи. Однако я, лукавя, хвалил очередную главу – так же, как и остальные. Но вот теперь, листая сочинения иных лауреатов «Большой книги» или нынешних коммерческих авторов, чьи глупейшие романы расходятся благодаря рекламе большими тиражами, я вспоминаю майора Царика, его короткие брюки, его длинную эпопею, неизвестно куда канувшую, и думаю: вполне возможно, он просто опередил свое время...

Я стал военкором и получил удостоверение, с которым ходил по всей дивизии и организовывал материалы о боевой и политической подготовке нашего мотострелкового соединения. Иногда, не поверив «корочкам», изготовленным прапорщиком Гринем, меня забирали в комендатуру и сажали на гауптвахту, где томились бойцы, пойманные в «самоволке». В основном бегали они или за шнапсом, или на свидания к немкам, ценившим голодную стойкость советских солдат. Но сидел я там недолго, вскоре прибывал майор Царик и вызволял своего «военкора».

Пару раз я ездил с начальством на рыбалку: местность вокруг была изрезана каналами и серебрилась рукотворными озерами. Офицеры, восторженно крича, таскали лещей размером с саперную лопатку, хвалились, мерились хвостами, а потом отпускали добычу. Рыба была поголовно заражена солитером. Сделали это якобы по приказу Гитлера, когда Красная армия взяла в кольцо Берлин...

5. Письма без марок

Из армии я написал только жене Наталье более ста писем. А сколько было еще писем друзьям, учителям, братьям по поэтическому поприщу, редакторам! Такой эпистолярной насыщенности у меня никогда больше не случилось. Зато я понял, почему у классиков, живших в дотелефонную эпоху, две трети собрания сочинений занимают письма. Но времена меняются стремительно, и я с ужасом думаю о наследии будущих классиков, если они додумаются включать в собрания сочинений свой интернет-треп. Когда-нибудь я издам свои армейские письма, которые нашел случайно, разбирая короба с черновиками. А пока приведу некоторые отрывки из них, чтобы нынешний читатель имел представление, о чем мог писать из Германии в Москву советский солдат-срочник в середине 1970-х.

«Наташа!

Я на карантине в части около метро “Беговая”. За мной никто не пришел! Позвони Бархатову или в редакцию Ригицу. Может, меня еще вытянут. Куда пошлют дальше, не знаю. На “Беговой” мы пробудем до 18 ноября. Все это гораздо хуже, чем я думал. О том, что впереди год, стараюсь не вспоминать. Целую, люблю, скучаю.

Юра. 05.11.76».

«Наташенька, здравствуй!

Пишу тебе второе письмо. Теперь буду их нумеровать, чтобы в случае чего все было понятно. Твое письмо мне ждать еще дней десять. Постепенно приживаюсь. Сегодня мой новый праздник. Сегодня – 19 ноября

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.